

# Содержание

Вместо предисловия . . . . .	7
Прощание с Годом литературы . . . . .	21
Своя мера . . . . .	25
Надо читать! . . . . .	27
Как читаешь и читаешь ли вообще? . . . . .	30
Язык и литература . . . . .	35
Госпожа Литература . . . . .	42
Страна чудес . . . . .	44
ВРЛ. . . . .	48
Неужели и Саул во пророках? . . . . .	52
Пророчества Старой Европы . . . . .	58
Данте сегодня . . . . .	62
Честное слово . . . . .	67
Библия и газета. . . . .	71
«Се, стою у двери и стучу!» . . . . .	76
Честертон, Льюис, Антоний. . . . .	81
Драматурги во власти . . . . .	86
Чем занимаются переводчики. . . . .	94
Откуда растут стихи? . . . . .	106
Поэзия — это борьба личности за подлинную жизнь. . . . .	112
Литераторские мостки . . . . .	124
Сказать о Господе, не называя его имени . . . . .	131

Демократия против поэзии: деградация продолжается . . . . .	136
Меня сделал Федор Достоевский . . . . .	145
Об одной цитате из Достоевского . . . . .	149
Следом за героем . . . . .	156
Страсти по Андрею . . . . .	158
Проект «Робинзон» . . . . .	163
«Троянский конь» литературы . . . . .	165
Фрейд для православных . . . . .	172
Nabent sua fata libelli . . . . .	180
Портрет Дориана Грея . . . . .	185
Школа роста . . . . .	192
О том, как стать человеком-невидимкой, и что будет потом . . . . .	198
Кafka. Рабочие тетради . . . . .	203
Что читал команданте . . . . .	211
Об Анне Карениной . . . . .	216
Разговор о фантастике . . . . .	219
Занимайся словом Бога! . . . . .	224
Храм и книга . . . . .	231
О невежестве . . . . .	237
Невежество и безразличие . . . . .	249
До чего дочитался . . . . .	256
Не точка, но многоточие . . . . .	262
Читаем Библию . . . . .	267
Именной указатель . . . . .	276



## Вместо предисловия

Умение читать я обязан большому надувному мячу с нарисованными на нем кириллическими буквами. Мяч был не очень большим. Но мне самому тогда было только три с хвостиком, и поэтому клеенчатый мягкий мяч с прячущимся ниппелем для надувания казался огромным. Алая буква «А» на мяче соседствовала с разрезанным арбузом, возле буквы «В» располагался трехколесный велосипед, и так далее. Предметное соседство довольно скоро превратило для меня буквы из таинственных иероглифов в понятные знаки. До наступления четырех лет, к восторгу деда и бабушкиному хвастовству среди соседок, я уже читал по складам названия дедушкиных газет и вывески над дверями магазинов. Вскоре в моей жизни появились книги.

Я хочу говорить о них, о книгах. Хочу говорить прерывающимся и дрожащим от благодарности голосом. Об их запахе, об их растрепанных страницах, об иллюстрациях и впечатанном сзади в обложку ценнике (при стабильной экономике ценник делался оттиском, а не клеился ярлычком). Конечно — о первом знакомстве с названием и дальнейшем погружении в содержание. Хочу говорить об обстоятельствах прочтения той или иной книжки и о том, как солнечный луч, упавший на страницу,

или шум за окном навсегда соединились для меня в одно с прочитанным.

Причиной для этого разговора стала отнюдь не электронная эпоха. Даже если бы я не слышал каннибальских речей о торжестве «цифры» и гибели бумажной книги, я все равно захотел бы высказаться об этих «милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили» (поэт и учитель Пушкина Василий Андреевич Жуковский).

Книжных шкафов, столь вожделенных для «бумажного червя», у меня в детстве не было. У бабушки была этажерка с книгами, в доме матери — нечто вроде серванта, где за стеклом стояло штук 70 разных книг. С этих небольших и разношерстных запасов началось мое самообразование.

В старшей группе детского садика мною до дыр была зачитана книжка «Русские богатыри». Помоему, я знал ее наизусть. Воспитательницы эксплуатировали меня. Они рассказывали полукругом детвору, меня сажали в середину, и я с удовольствием пересказывал все, что помнил. О том, как «старый казак Илья заутреню слушал во Муроме, а обедню отстаивал в стольном Киев-граде». О том, как лишившийся оружия Добрыня набрал в шапку песка и этим неожиданным оружием нокаутировал по очереди все три головы Горыныча. И еще кучу всего прочего, что с годами вымылось за ненужностью из сознания напрочь, а раньше сидело в памяти целыми главами и страницами.

Мой первый взрослый писатель — Флобер. Почему Флобер? Потому что в потрепанном виде на бабушкиной этажерке между болгарской книгой

по домоводству и томиком Ильфа и Петрова стоял его роман «Саламбо». Я прочел его раза четыре в течение двух лет. Конечно, фабула ускользнула от детского ума. Но струящийся от жары воздух Северной Африки обжег мне ноздри. Я услышал рев боевых слонов, которых поили перед боем красным вином с пряностями. Увидел пеструю и дикую народную толпу, которая с ликованием встречает в городе процессию победителя и освистывает колонну понурых пленных. Непривычные имена вроде Гамилькара или Гасдрубала коснулись моей души. Трудно сказать, почему я раз за разом брал в руки эту книгу и почему, открыв ее, уже не мог оторваться. Много позже, будучи уже женатым человеком и священником, я прочел «Госпожу Бовари». Прочел запоем, в один присест и по-взрослому удивился мастерству автора. «Воспитание чувств» пытался прочесть дважды с перерывом в десятилетие. Но этот роман оказался для меня закрыт. Его сердцевина лакомой не стала.

Вообще, начиная с Флобера, можно говорить о писателях, у которых я прочел все или пытался прочесть все. Например, Набоков. Лет в 19–20 я с жадностью голодного человека набрасывался на все его романы. «Машенька», «Пнин», «Приглашение на казнь», «Защита Лужина». Потом я вдруг остановился и почувствовал вот что: я нахожусь на чердаке, полном старых вещей (кто ребенком бывал на таких чердаках, тот знает, какое это захватывающее приключение). Луна светит в слуховое окно, и в лунном свете я беру в руки предмет за предметом. Старую вазу, велосипедное колесо, связку

прищепок, медный канделябр. Ребенку все интересно, и чувство такое, словно ты — пират, добравшийся до сундука с сокровищами. Но вскоре мне становится трудно дышать. Ведь я на чердаке, а вы должны знать, что такое чердачная пыль. Всякий новый предмет, который я беру в руки, тревожит пыль, и она поднимается в воздух фонтанчиками, и со временем пылью забиты все мои дыхательные пути.

Таков для меня весь Набоков. «Пыльный писатель». Тонкий стилист, в мире которого нечем дышать. Простые предметы, которые он рассматривает, приобретают черты неповторимой оригинальности, но... Вместе с этой оригинальностью твой нос и рот забиваются пылью, и ты, задыхаясь, бежишь с чердака, как бы ни хотелось тебе еще порыться в любопытном хламе.

Спустя много лет, прочитав его «Комментарии к «Евгению Онегину»» и «Лекции по русской литературе», я лишь утвердился в своем мнении. Насколько, к примеру, глубок и масштабен в своих комментариях к пушкинскому роману Лотман, настолько мелок до обидного Набоков. Эпиграфом ко всему его творчеству, по моему мнению, может служить строка из Крылова: «Слона-то я и не приметил».

Писатели, также попавшие в категорию «Прочесть полностью» — Ремарк и Достоевский. Но о них мы поговорим позже. А пока вернемся к старой этажерке. Там был Франсиско де Кеведо, а именно его роман «История жизни пройдохи по имени Дон Паблос, пример бродяг и зеркало мошенников». Как я люблю с тех пор длинные названия или аннота-

ции к главам книги! Ну, на такой манер: «Глава шестая, в которой читатель узнает, сколькими пулями было застрелено преступное тело главаря банды, а также чья милая рука нажимала на курок».

Книжка Кеведо взяла меня в плен. Меня увлек каскад сомнительных приключений, шуток, плутовских проделок. Мой детский ум пленился вечным странствованием главного героя, его свободой, ловкостью, гибкостью ума и умением всюду выйти сухим из воды. То, что главный герой — плут, ходящий по лезвию бритвы, не скрылось от ребенка-читателя. Подражать такому герою в повседневной жизни, копировать его делишки — смертельно опасно. Но в том-то и обаяние «плутовского романа» (название жанра я узнал много позже), что симпатии читателя неизменно будут на стороне главного героя, хотя по нему давно плачет виселица, а по следам его давно уже идет святая инквизиция.

Словом, книга меня пленила. Я даже помню год ее выпуска — 1950. А издательство — «Гослитиздат». Запомнилось это название, в отличие от многих детских книг, на тыльной стороне обложки которых было написано «Детгиз» (обычная аббревиатура, расшифровывающаяся как «Детское государственное издательство»). В моем сознании оно было созвучно имени Чингиз, в смысле Чингизхан. И мне в детстве было непонятно, почему именем, похожим на имя врага русского народа, названа контора, выпускающая детские книжки).

Детский ум цепок.

А может, податлив?

Есть разница. Цепкий ум сам цепляет и удерживает то, что ему интересно. Это мужское свойство захватчика. Податливый ум принимает внешние впечатления и долго хранит их. То есть действует так, как воск в отношении печати. Это женское свойство восприимчивости.

Но, так или иначе, ребенок способен запоминать многое и в деталях. Давно замечено, что дети филологически гениальны. Так, например, ребенок из семьи военного, колесящего по стране, мог, оказавшись в армянском детском садике, вскоре заговорить по-армянски. А случись ему пойти в начальную школу в Латвии, и латышский впитался бы в сознание очень быстро, притом что сам человек по матери и отцу принадлежал бы к русскоязычной культуре. Да, детский ум таков.

Но я не колесил по стране. Мое детство прошло во Львове. Батя не был военным. И детский ум имел возможность с легкостью впитать кроме родного русского лишь галицкий вариант украинского — интереснейшую мешанину польской, немецкой и природной украинской лексики, — и сотню чистых польских фраз (в этом городе, долго принадлежавшем Польше, было много поляков).

Вся остальная цепкость (или податливость) ума проявилась в запоминании прочитанных книг, некоторых — абзацами, некоторых — страницами.

Помню, в Николаеве, куда меня пригласили на лекцию, время от прибытия до встречи с людьми я проводил в отеле. По телевизору шел документальный фильм о каком-то израильском писателе (имя не помню). Тот рассказывал, как во время Ве-



ликой Отечественной находился в Средней Азии в эвакуации. Время было, мягко говоря, не очень сытое. Мальчишки сбивались в уличные банды и тянули все, что попадет под руку. Наведывались на вокзал к продуктовым эшелонам. Рисковали. Рассказчик вспоминал, что его на «дело» не брали. Берегли. Слишком он был хлипкий, домашний, словом, не разбойничьего склада. Но ценили пацана за то, что он умел пересказывать книжки, которых малолетние уркаганы не читали. «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера»... Пацаны слушали, забывая жевать украденные яблоки. Своя доля пайки доставалась и рассказчику. Такова сила слова, сила увлекательного рассказа, и вот так парадоксально происходило у хулиганов знакомство с классикой.

Писатель также добавлял, что видел в те годы много драк, жестоких, чуть ли не насмерть. Но всегда драке предшествовал разговор. Соперники упражнялись в ругательствах. Они буквально уничтожали друг друга едкими и позорными оскорблениями. Тот, у кого запас ругательств кончался, задыхаясь от злости, лез в драку первым. Тогда я понял, — сказал тот человек, — что люди только тогда идут в бой, когда больше говорить не о чем. Следовательно, кто не хочет лить кровь, тот должен разговаривать.

Парадоксальное знакомство с классикой имеет и другие примеры. Более жуткие. В перестроечные годы, с характерным для них муссированием лагерных ужасов, на экране появился образ интеллигента-доходяги, который пересказывает романы

блатным. По-моему, Зиновий Гердт играл эту роль, а сама тема взята, кажется, у Шаламова. У колымского летописца это называлось «тискать рóман». Доходяга, проведший всю прошедшую жизнь среди книг и прочих артефактов, оказавшись в последнем круге земного ада, в лицах, под всеобщий лагерный хохот рассказывал (непрененно на жаргоне, понятном зекам) о Ромео, как тот «втюрился в биксу по имени Джульетта»; о Монте-Кристо, который «срок тянул в одиночке на острове»...

Это, пожалуй, самые страшные иллюстрации к теме о неистребимом вездесущии книг. И я знаю, что именно так оно (вездесущие и неистребимость) и есть. Виктор Некрасов в своей повести «В окопах Сталинграда» не раз описывает читающих бойцов. Город превращен в пекло. Бои идут за каждый подвал и каждую лестничную клетку. Но в неизбежных перерывах между боями бойцы находят в сожженных квартирах обрывки книг. И читают их. Читают то, что осталось от Чехова или Хемингуэя. Читают не просто впервые после долгого перерыва, а читают как раз те, кому на гражданке было не до книг. Волга горит от вылившейся нефти, гул бомбардировщиков уже никого не пугает. А они читают. И на время чтения удивительным образом уносятся отсюда, из этого ада, в иную жизнь. Не к себе в колхоз и не на улицы родного города. Улетают с князем Андреем в Аустерлиц или слышат, как стучит топор по стволам чеховского «Вишневого сада».

Кто скажет после этого, что книги — это только «слова, слова»? И что процесс чтения — это не вол-

шебство? И что происходящее в книге не может быть реальнее происходящего за окном? Кто?

Власть рассказчика над душами слушателей я испытывал не раз и после детсада с его «Легендами о русских богатырях». В нашем отрочестве, плавно перетекающем в юность, была такая книга — «Джин Грин — неприкасаемый». Книгу пацаны передавали друг другу так, как после, в конце 80-х, на один день люди передавали друг другу Библию. Она была замызгана донельзя. Имя странного автора виднелось на обложке — Гривадий Горпожакс. Имя это составлено было из трех имен и трех фамилий: Василия Аксенова, Григория Поженяна и Овидия Горчакова.

В этой книге было все то, о чем потом пел «Наutilus» в песне «Гуд бай, Америка», а именно: «Нас так долго учили любить твои запретные плоды». Там был вой полицейских сирен на улицах Манхэттена; «гориллы», охраняющие ночные клубы, где веселятся боссы мафии; неон рекламы, звуки буги-вуги и рок-н-ролла. Там был подробный рассказ о том, как из мальчишки делают супермена в учебном лагере «зеленых беретов». И были офицеры СС, перешедшие на службу в ЦРУ, была сложная политическая каша 60-х с навязчивым страхом Третьей мировой, был авантюрный сюжет со шпионами, которых все-таки расколет КГБ. И, конечно, любовь. В общем, все, от чего нельзя оторваться, если тебе 16–17 лет.

Я взял книгу на день, но продержал месяц. И, кажется, выучил ее наизусть. Потом, уже в «кадетке», за полчаса до вечернего построения на поверку,

я рассказывал главу за главой эту книгу ребятам, а они слушали, сгрудившись вокруг меня в кучку до самого крика: «Рота! Строиться!» С тех пор я понял, что книга, прочитанная одним человеком, должна быть им же пересказана другим, ее не читавшим. И не в этом ли секрет бесчисленных экранизаций классики, когда режиссеры все пересказывают и пересказывают один и тот же сюжет, воплощая его каждый раз по-новому?

Если уж ставить точку на теме бабушкиной этажерки (а точку ставить надо, ибо все в мире, кроме любви, имеет свойство заканчиваться), то нельзя обойти вниманием Ильфа и Петрова. Их «12 стульев» и «Золотой теленок» были еще одной пикареской (плутовским романом) после романа Франсиско де Кеведо. Я, оставшись один на один с книгой, до слез хохотал над одесским юмором Остапа, над смешными именами и блошиными скачками ироничного ума авторов. Много позже мне подсказали, в чем успех книги. Это — правильно выбранный герой, следя за приключениями которого, читатель впитывает в себя аромат эпохи, в данном случае НЭПа. Если хочешь описать эпоху, выбери героя, глазами которого увидишь лик изменчивого мира в четко определенный момент. А если героя нет, мир погружается в невысказанность. Так говорил Данелия. В ответ на вопрос, почему он ничего не снимает, мэтр отвечал: «Не вижу героя».

Но это еще и первое знакомство с библейскими идеями. Образ золотого тельца — это ведь явная отсылка к истории Исхода, к истории того, как евреи

изменили Богу, выведшему их из рабства. В нашей литературе таких отсылок немного. В американской больше. Сравните названия романов того же Фолкнера: «Сойди, Моисей», «Авессалом, Авессалом!», «Если забуду тебя, Иерусалим». Не зная содержания Книги Царств, псалмов, Бытия, совершенно невозможно говорить о смысле произведений. А роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» — это отсылка через название к самой известной проповеди Джона Донна и теме смерти. Так Библия и ее смыслы точечно-капельным путем приходили к читателю советской поры, и для меня это — неоценимая услуга обычной литературы в постепенном приходе к Книге Книг. Сказал же перед смертью Вальтер Скотт: «Дайте, дети, мне книгу». В ответ на вопрос, какую именно, он ответил: «Есть только одна Книга, дети. Все остальные — это комментарии к ней».

Время перейти от этажерки к серванту, от дома бабушки к дому матери. Там тоже были книги. Их было мало, но тем более глубоким было погружение в их содержание. Я жил в Галиции. Многие книги были на украинском языке. Так, «Трех мушкетеров» я прочел по-украински.

«Добродій» вместо «сударь», «пiхви» вместо «ножны» и еще бесчисленное количество подобных перлов резали слух. Мне очень понятен гомерический хохот Карцева, который в Одесской опере слушал «Кармен» по-украински. Ничего не имею против украинского языка, но заставить говорить на нем французского дворянина эпохи «короля-солнца» или испанскую цыганку-контрабандистку до

сих пор мне кажется затеей сомнительной. Прекрасный в песнях и колядках, украинский язык останавливается для тебя на пороге большой литературы, если ты владеешь русским свободно. Много раз я заставлял себя читать, например, сонеты Шекспира и в русском, и в украинском переводе, но потом бросал это занятие и возвращался к Маршаку или Лозинскому. Зато прекрасен на украинском (лучше русского) чешский Швейк. Похождения этого «бравого солдата» сочнее и выпуклее звучат именно в украинском варианте. Работает, видимо, общая славянская близость языков, особенно — суржиков. В русском эта общность тоже есть, но она затерта выходом русского языка из этнического на более высокий, общечеловеческий, что ли, уровень.

Мне близка та мысль, что всемирную литературу творит культура империй. Империя всегда многонациональна. Она выходит за рамки одного этноса, а значит — и за рамки сугубо этнических интересов. Литература империй может позволить себе говорить больше о Человеке как таковом, нежели об этнографии или проблематике отдельно взятого народа. Литература империй — это литература Англии, Франции, Америки, России. Сколь интересно, столь же и важно для нашего разговора, что и музыка, родившаяся в империях, становится всемирной классикой. Чайковский и Лысенко — современники. Но музыкой Чайковского окутана планета. Каждую секунду бытия где-то в мире она звучит. Ее или репетируют, или исполняют, или слушают... О Лысенко этого не скажешь.

Мне возразят, что Грига тоже слушают везде, но Норвегия никогда не была империей. Согласен. Но в этом случае мы имеем дело с общеевропейской культурой, которая всегда, благодаря католическо-протестантскому базису, тяготела к некоей общности, что не так давно вылилось в политический факт создания единой Европы.

Там же, в доме матери, я прочел «Онегина» (не потому, что в школе задали), рассказы о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла, «Словарь крылатых выражений» и еще кучу всякой всячины, касавшейся «шпионских страстей», войны и приключений. Книги о приключениях, вроде Майн Рида, Фенимора Купера, Стивенсона, на мой взгляд, совершенно необходимы юноше. Даже нет — подростку. Нужно непременно, чтобы твое воображение окатили соленые брызги океанских волн; чтобы ты продирался сквозь девственный лес в районе Великих озер, боясь попасть в плен к краснокожим; нужно, чтобы человек-невидимка будоражил твой детский ум и ты видел в воздухе шарф, повязанный на невидимой шее или очки, висящие в воздухе. Иначе...

А что иначе? А иначе ты не распрощаешься с детством и перетащишь его во взрослую жизнь. Там, во взрослой жизни, ты с запозданием будешь мечтать о приключениях и опасности, только теперь это будет уже не книжная забава. Реальным авантюризмом на грани тюрьмы или пролитой крови будет это запоздалое детство, пролезшее во взрослую жизнь. И я могу говорить об этом, поскольку вырос в районе, где жестокие драки были